

Родился Санька недоношенным...

Все люди как люди, с природой не спорят. Сидят себе в уютной материнской утробе, солидно, не торопясь, развиваются, обстоятельно наращивая необходимые для жизни конечности и все остальные причиндалы. А куда торопиться? Никакой тебе заботы. Сиди и сиди, планируй будущую жизнь. Саньку же как чёрт в спину толкнул. Вот захотелось ему в люди, и всё. И куда спешил, торопыга? До срока-то ещё два месяца. Знал бы, дурень, каким боком ему выйдет такая спешка — непременно бы очутился.

Мать, почувствовав его беспокойство, заволновалась и была категорически не согласна с его торопливостью. Правда, ребёнчишко развивался беспокойным, пинался твёрдыми пятками днём и ночью. Так иногда саданёт — сердце заходится. Но когда Санька вдруг запросился на волю, она забеспокоилась не на шутку. Это как же так? Уж лучше потерпеть пару месяцев эдакого футболиста, чем рожать незрелого головастика. Всему свой срок должен быть.

Но у Саньки по этому поводу было другое мнение. Упрямство в характере родилось раньше его. Решено — сделано.

Глупое дитя... Он думал, так просто родиться.

По своему малому недоразумению и торопливости Санька в последний момент засуетился, потерял ориентир и, вопреки законам Природы-матери, пошёл, дурачок, ногами вперёд. Правда, с помощью опытной акушерки он кое-как преодолел первое в жизни недоразумение, но силы были потеряны, и громко заявить о своём выходе в свет духу уже не хватило. Пискнул, как котёнок, и замолк. На его счастье, акушерка знала способ вправлять мозги таким недотёпам. Получив крепкий шлепок по сморщенной попке, Санька очнулся и, как ему казалось, заорал во всё горло, возвещая мир о своём прибытии.

На самом деле на салфетке лежал синюшный, скрюченный, мокрый комочек и тихо попискивал, слабо шевеля кривыми ножками.

Последующая жизнь Саньку не баловала. Хилый и узкогрудый, он был постоянным объектом насмешек сверстников. И как только над ним не издевались. Городские ребяташки, оторванные

от природы, дичают среди каменных домов и чахлых деревьев. Постоянная борьба родителей во всяких городских конторах за более сладкий кусок и власть накладывает и на детей отпечаток жестокости по отношению к более слабому и незащищённому. Туркали бедного Саньку по всякому поводу, а чаще и без повода. Нарастающее сознание подсказывало, что единственное оружие, данное ему природой, — это характер. Бог, Он ведь всем поровну делит. Уж коль фасадом обошёл, так внутрь больше положит. Вот Господь и зарядил Саньку сверхсильным зарядом упрямства, настырности и взрывной ярости. А постоянные тычки, затрешины и унижения только увеличивали его силу. Бесконечно продолжаться такой процесс не может.

И произошёл взрыв...

Играя в футбол во дворе, Васька Козлов, по кличке Козя, пнул Саньку по ноге. Ну пнул и пнул, чего в футболе не бывает. Привычный к этому делу Санька просто промолчал. Тогда Козя пнул его ещё раз, просто так, в порядке самоутверждения.

В Санькиной голове что-то щёлкнуло, цепь замкнулась, и детонатор сработал. Ни секунды не раздумывая, он молчком прыгнул на Козю и, вцепившись ему в волосы, стал драть их с остервенением, как выпальвают надоевший сорняк. От дикой боли и неожиданности трусливый Козя упал на землю, судорожно пытаясь оторвать от себя Саньку. Но хватка была мёртвой.

Разливали их водой, как собачью свару. Козя с воплями убежал домой, а Санька остался сидеть на грязной земле, разглядывая пучки рыжих Козиных волос, застрявшие между пальцами.

Дома Саньку не ругали. Да и за что? Мать знала его нелёгкое положение во дворе; мало того, считала себя основной виновницей рождения такого несуразного создания и страдала от этого. Она догадывалась, что по характеру её последыш уродился крутоват. Иной раз так взглянет — как шилом торкнет. И в кого такой? Старшие сёстры — девицы спокойные, покладистые. Отец — тот вообще тюха-матюха, во рту мухи толкутся. Как и всякая мать, зная, что внутри у сыночка затаился чёрт с рогами, она с опаской ожидала, когда этот чёрт выскочит и в какую сторону прыгнет. И вот первый прыжок.

Санька сидел на низкой скамеечке, подперев пол глазами. В широких синих трусах с отвисшими гачами, на согнутой спине позвонки, как Уральский хребет, лопатки торчат крылышками архангела. Мать стирает в тазу грязные Санькины штаны. Санька молчит, сопит.

— Ты за что его так-то? Ему же больно, когда волосья на голове рвут.

— А чего он пинается? И все меня пинают и бьют. Что, мне не больно? Я ему в следующий раз совсем рыжую башку оторву.

— Он здоровый дурак, намолотит тебя.

— Не намолотит...— Санька вздохнул.— Он трусливый, и я его больше не боюсь. И вообще я больше никого и никого не боюсь...

Санька поднял голову, искоса посмотрел на мать. Взгляды их встретились, и у матери захолоуно в сердце. Вот он, чёрт, в глазах скачет, огнём жжёт. Господи, как же Ты просмотрел, как промахнулся! Почему не досталась Божья искра добра для его души? Как же он жить среди людей будет?— Эх, Санька, Санька. Недоразумение ты моё...

...Июнь. Когда уже казалось, что вся земля превратилась в раскалённую печку, жёлтое марево солнца на излёте дня, тихо угасая меж пустынных песчаных холмов, постепенно расплывалось, местами перемешиваясь с тонкими полосками прохладного воздуха, слоями бродившего низко над жухлой травой. Ужом протираясь между сухими и кривыми кочками, Санька, сапёр двадцать восьмого сапёрного батальона, завязшего в этих насквозь прожжённых калёным солнцем вязких и сыпучих холмах, полз к небольшой болотинке, криво загибавшейся вдоль склона холма. Эта болотина являлась естественной нейтральной полосой, надолго разделившей наши и немецкие окопы. Чухлый кустарник давно уже был срублен пулями и осколками и не представлял собой никакой защиты. Подобраться к воде можно было только ползком, по засушенному с краю болота кочкарнику.

Санька полз к воде. Это не первый его рейд в глубину нейтральной полосы, да, вероятно, и не последний, так как взять воды больше негде. Можно было, конечно, как и раньше, дожидаться темноты и, особенно не маскируясь, сделать несколько ходок, но у Саньки свербела тайная мыслишка—до прихода темноты, засветло, отыскать мочажок побольше и постирать портянки.

Закорели они до такой степени, что их нужно или стирать, или выкидывать. Ну а потому как шансов получить новые не было вообще—оставалась только стирка. Нахальство, конечно, неслыханное—при такой нехватке воды стирать портянки, и старшина Осипов, прослышав про его затею, строго-настрого запретил это дело, но надо знать Саньку. Тем более что повод для этого достаточно веский.

Ему, Александру Фаддеевичу Гораздову, рядовому второй роты отдельного сапёрного батальона, завтра будут вручать медаль «За отвагу». Какой бывалый фронтовик, боец пойдёт получать правительственную награду в вонючих портянках? Да надо не уважать себя. Героический сапёр, под носом у немцев разминировавший проход для разведчиков, за работой которых, говорят, следил сам командующий армией,—и пойдёт получать медаль, заработанную собственным горбом, в таком затрапезном виде. Да ни в жизнь такому не бывать. Ну и что ему старшина может сделать? Да ничего! Дальше передовой не пошлёт. А сапёры и так по краешку ходят. А бывает, и за краешек.

На фронте Санька с конца сорок второго года. Призвали его аккуратно за месяц до начала войны, и попал он в Забайкальский военный округ. Не успел, как говорится, оглядеться, оглянуться, а вот она и война. Ну, раз война—иди вой. Так нет, не судьба, знать, сразу в пекло. Такая уж стратегия получилась. Несмотря на то, что дела на фронтах были совсем аховские, огромную армию, в основном инженерные войска, держали на сооружениях укрепрайонов по границе с Манчжурией. Политическая ось Берлин—Токио и миллионная, прекрасно вооружённая и выдрессированная до фанатизма Квантунская армия, готовая, в зависимости от положения дел на западном фронте, в любую минуту смять восточные границы,—заноза серьёзная. И только уже к концу сорок второго года, когда растоптанная танковыми прорывами и замотанная в окружениях Красная Армия была окончательно обескровлена, часть резерва Дальневосточного и Забайкальского округов пришлось перебросить на запад. Так Санька и оказался в действующей армии.

А он сильно и не расстраивался. По своей военной специальности сапёр Гораздов насобачился будь здоров. Прав был капитан Васюхин. Санькины пальцы, длинные и цепкие, своё дело крепко знали. Да и сам он за полтора года службы превратился из птенчика хотя и в маленького, но орла. И полетел Санька в скором воинском в поход за славой боевой.

К моменту призыва в армию он вырос в небольшого, чуть кривоного паренька, с лобастой головой и костистыми длинными руками. Но вид был всё равно дохловатый. Когда в военкомате он, откровенно голый, стал пред длинным столом медкомиссии, председатель, пожилой, с крупной лысой головой врач, внимательно оглядев его с ног до головы, поморщился и недовольно крикнул:— Ты чего же такой худой, паря? Плохо кормят?— Никак нет, товарищ доктор, кормят хорошо. Конституция у меня такая.

Саньке было стыдно стоять голым перед таким количеством людей, в основном женщин, стыдно

за свою фигуру и малый рост, но деваться некуда. Здесь ты не голый мужик, а голый ноль, будущая боевая штатная единица. А солдаты, известное дело, как крупа в пшённой каше, все одинаковы. Хоть в штанах, хоть без штанов.

Председатель комиссии ещё раз полистал бумаги, пошептался с врачами, те по очереди согласно покивали головами.

— Призывник Гораздов, у вас малый вес и недобор по росту. Решением комиссии вы освобождены от призыва в армию.

Вот это фокус. Не-е-ет!!

Санькину душухватило ознобом, и будь на нём шерсть, встала бы дыбом. Нет! Эти равнодушные люди хотят так же равнодушно решить его судьбу. Да что это за мужик, который в армии не служил? Да не мужик это, а так, мизгирь калеченый. Санька понял, что надо стоять за себя насмерть. Пан—или пропал!

Он разжал ладони, которыми прикрывался, и, встав по стойке смирно, сделал два шага вперёд, к столу. Доктор удивлённо вскинул голову.

— Товарищ доктор. Вид у меня, конечно, кошкарный, и худой я не оттого, что плохо кормят, просто не в коня корм. Но, товарищ доктор, сдохнуть мне на этом месте с голой задницей, если я буду плохим бойцом. Да я любого, самого сильного врага зубами загрызу. Да я в любую щель, как мышшь, пронырну. Товарищ доктор, направьте меня в разведчики.

Санька набычил свою лобастую голову и, сделал ещё шаг, подошёл вплотную к столу.

— Товарищ доктор, не губите, не отлучайте от армии. Без армии мне форменная погибель. На меня и так девки не смотрят, а не буду солдатом—вовсе закроют.

Доктор, склонив голову набок, внимательно посмотрел Саньке в глаза, пожевал губами.

— Да, заявление серьёзное. Ты прав, паря, для нашего брата, мужика, это полный карачун. Ну, что комиссия скажет?—и он вопросительно, чуть улыбаясь одними глазами, посмотрел по обеим сторонам стола.

А комиссия тоже улыбалась, глядя на взъерошенного, с горящими глазами, худосочного призывника. Ещё раз пошептались и вновь одобрительно закивали головами.

— Хорошо, призывник Гораздов. Последний твой довод был столь убедителен, что комиссия, в основном женщины, не смогла перед ним устоять. Благословляем тебя на службу. Но смотри, «богатырь», занимайся физкультурой, набирай вес и фигуру, а то действительно вид у тебя уж больно «кошкарный», как ты тут смел заметить. А уж куда тебя направить, такого шустрого, пусть воинские начальники решают. Думаю, найдут тебе дело.

— Благодарствуйте, товарищ доктор! Я не подведу, будьте уверены.

Санька развернулся и чётким шагом, шлёпая босыми пятками и по-строевому размахивая руками, вышел из кабинета.

Вид сзади был ещё страшней.

Направили его не в разведчики, а в сапёры. А попал он туда только потому, что «покупатель» от сапёров припоздал, и досталось ему то, что осталось.

Здоровый и брыластый капитан долго и кисло смотрел на Санькины документы, на Саньку, который стоял навтыжку перед ним, набрав полную грудь воздуха, чтоб казаться здоровее.

— Да, хрен тебя задави, припоздал я. На тебе, Боже, что нам негоже. Ты воздух-то выпусти, а то грех случится. Чего такой чахлый?

— Да какой уж уродился, товарищ капитан.

— Ну, какой есть, такой и есть, переделывать поздно, хотя, я думаю, кое-что подправить в наших силах. Ладно, не горюй, боец, и запомни: в Красной Армии каждый должен быть орлом, независимо от роста, внешности и происхождения. Так что крылья не опускай. К службе пристроим. Ты в детстве из поджиги стрелял?

— Так точно, товарищ капитан. Чуток глаз не выбило. Вот посмотрите,—Санька показал синеватые пороховые точки на лбу.

— Значит, грому не боишься. Покажь пальцы!

Санька вытянул руки, пошевелил кистями.

— Хорошие пальцы, длинные, должны быть чувствительные. Отдам я тебя в роту минёров, там такие махонькие как раз к делу. Не бойсь, парнишка. Капитан Васюхин сказал, что из тебя боец получится,—значит, получится. Моё слово калёное.

...Когда Санька подполз к сырой кромке болотины, уже смеркалось. Быстро набрал три фляжки и уложил их под кочку. Немцы знали, что наши солдаты в это сумеречное время ходят по воду, и усилили огонь по ложбине. Правда, стреляли в таких случаях лениво, наугад, больше для порядка. Пули посвистывали соловьями над головой и, попадая в головки камыша, глухо чмокали, расширяя их в облако пушистой пыли. Затевать стирку в маленьких оконцах, где он набирал воду, было бесполезно, больше грязи намесишь. Кое-как, изогнувшись, он стянул сапоги, смотал портянки и засунул их за пояс на спине. Меньше воняют, хотя в болоте тоже духами не пахло. Сапоги обувать не стал и приткнул их рядом с фляжками. Пусть ноги отдохнут. Бочком-бочком двинул вправо и чуть вглубь, где кочки были повыше и позеленее. Руки стали проваливаться в грязь, быстро замokли живот и колени. Санька тихо матерился, забираясь всё глубже в грязь и тину. Чёртово болото! Ну хоть бы маломальская ямка с водой. Уже крепко темнело, а главная задача не выполнена. Вскоре наткнулся на небольшой бочажок и, приткнувшись кое-как на корточках, быстро состирнул портянки.

Порядок! Темнота уже размыла контуры деревьев, но была ещё белёсой, по-летнему слабой. Главная задача была достигнута, и на душе у Саньки стало спокойнее. «Сейчас быстренько найдём сапоги с фляжками — и скоренько, скоренько обратным ходом».

Но, как известно, Бог шельму метит. Не успел он толком сориентироваться на свою схоронку, как услышал свист мины. «Едрит твою в маковку. Этого ещё не хватало. Сдурели они, что ли? Да сюда немцы сроду мин не кидали. Чего пустое болото молотить?» Первая звучно чмокнула метрах в двадцати. Следующая — примерно на таком же расстоянии, но правее. И пошло-поехало. Мины падали с методичностью маятника. Бьют вслепую, по квадратам. Это как игра в морской бой. Попал — не попал. Уже не маскируясь, Санька зайцем, зигзагами и прыжками, рванул к своей первой лёжке, угадывая по свисту, куда упадёт следующая.

И всё-таки не угадал. Когда до родных сапог осталось рукой подать, чуть-чуть, ну вот совсем рядом, он услышал свист и понял, что эта мина его.

Мама родная! В такие минуты хочется превратиться в штопор, в червячка, чтоб ввинтиться в землю, в глубь её спасительную.

Санька расслапсатся в тонкий листочек, вдавив лицо, живот, колени в мягкую, податливую болотную сырость. Впереди резко треснуло, земля отдачей больно толкнула снизу по животу и одновременно гулким колоколом жახнула по голове. Но из памяти не выбило. «Вот это звездануло».

Какое-то время колокол тягуче гудел, и звук, нарастая и проваливаясь, давил на виски. Дум-м, дум-м... Дум-м, дум-м...

Полежав немного, стараясь не шевелиться, чтоб не расслепскать этот звон по всему телу, Санька осторожно завозился, стряхивая с себя сырую землю. Приподняв голову, увидел вдалеке султанчики взрывов, но они были беззвучные, как в немом кино. Санька похлопал ладонями по ушам, внутри что-то пискнуло, и, словно вынырнув из глубокой воды, он услышал противный свист летящих мин, хлопки взрывов. «Вот паскуда. Чуть не накрыла».

Где же сапоги и фляжки? На том месте, у кривого заметного кустика, Санька обнаружил свежую воронку. Пошарив вокруг, он наткнулся руками на кусок обгоревшей кирзовой голяшки. «Всё. Плакали мои сапожки. Про фляжки и разговоров нет, этого барахла хоть отбавляй, а вот за сапоги старшина голову отгрызёт». Санька посидел между кочек, подводя итоги, и пришёл к выводу, что надо срочно двигать назад, пока в потерях числятся только сапоги с фляжками. Обстрел вроде прекратился, но чёрт их, фрицев, знает, что они ещё придумают. И чего взбесились? «Хорошо ещё наши молчат, а то тут такая

перепалка начнётся — ног не унесёшь. Вот это постирался Санёк...»

Санька на полусогнутых, пригибаясь, двинулся обратно. Голова немного гудела, во рту сохло, но таких колотушек он уже получал не один раз и знал, что это скоро пройдёт. Впереди послышался шорох. Санька присел на корточках, прислушался насторожённо.

— Санька, Сань...

Его кто-то тихо окликал. По голосу он узнал Ваську Наркова, напарника из сапёрного взвода.

— Васька, это ты?

— Да я, я. Какой дурак ещё сюда полезет? — Васька, тоже пригибаясь, подошёл, сел. — Ну чего, живой, чудило?

— Да живой. Немного по башке трахнуло.

— А сапоги где?

— Тю-тю мои сапожки, и фляжки с ними. Голяшку обгорелую только и нашёл. А подошва к вам, наверно, улетела. Не видал, не пролетала?

— Пролетала, от тебя привет передавала. А портянки-то хоть постирал?

— Постирал. Вот только надевать не с чем.

— Ну и даст тебе Осипов. Как обстрел начался, так он по окопам бегал как ошпаренный. Грозился в порошок растереть. Ну чего, прачка Нюся, почалили до дому?

— Пошли. А кто ещё по воду ходил?

— А никто. Ты только ушёл, с тылу припёрли несколько бачков. Братва жирует. А ты-то хоть напился?

— Ага. Только вся вода снаружи.

Пригнувшись, они скоренько побежали в сторону наших окопов. Обстрел закончился совсем, и только одиночные пули иногда посвистывали то над головой, то где-то рядом. Санька на ходу обтирал с гимнастёрки и штанов липкую грязь, пытаясь принять хоть какой-то приличный вид. На подходе Васька окликнул передовой дозор, и вот они уже перевалились в крайний окоп.

Первым, кого они увидели, был старшина Осипов. Он стоял в надвинутой на лоб фуражке, а это не предвещало ничего хорошего. Когда он ругал солдат за всякие грехи и повинности, то всегда для свирепости надвигал на глаза головной убор, будь то каска или фуражка.

— Ну что, голубь, как слетал? Портянки чистые? — Да как сказать, товарищ старшина. Можно считать, относительно.

— Я тебе сейчас отнесу. Сам целый? А где сапоги?!

— Всё в норме, товарищ старшина, цел как огурчик. А сапоги вражеская мина прямым попаданием разгромила.

Старшина помолчал, посвистывая через щербину в зубах и, подняв тычком пальца козырёк фуражки, махнул рукой:

— Ну, пойдём, боец Гораздов. Воспитывать тебя буду. А ты, Нарков, свободен.

Землянка освещалась тускло коптившим тропейным полевым проводом. Солдаты кто спал на нарах, кто сидел вокруг стола по центру землянки. Когда Санька вышел на освещённое место и остановился, оглядывая себя при свете, поднялся такой хохот, что повскакали даже спящие. Санька был во взводе свой человек. Не сказать, чтоб его особенно любили. Такие понятия больше подходят к мирной жизни. Скорее уважали. За разумную смелость, хватку и, пожалуй, больше за характер. На войне жизненные понятия и время так спрессованы, что человек нерешительный и слабохарактерный, будь он даже семи пядей во лбу, в острые моменты просто не успевает принять единственного и правильного решения. Санька же, сохранив с детства настороженность, цепкую злость и решительность, почти всегда действовал резко и уверенно, но никогда не хвалился этим. И это вызывало невольное уважение, хотя над ним часто посмеивались за его дикое упрямство.

И на этот раз многие знали про его дурацкую и опасную затею засветло идти на болото, но остерегать никто не стал. Если уж ему зашла какая блажь в голову, то отговаривать бесполезно. И вот, глядя на стоявшего посреди землянки Саньку с мокрыми портянками в руках, нельзя было не смеяться. Изгвазданный с ног до головы, с торчащими мокрыми и грязными волосами, он был похож на болотного чёрта, что живёт под корягами и которым пугают детей. Осипов обошёл его вокруг, оглядел сверху вниз и со скорбным лицом, обращаясь в воспитательных целях больше к бойцам, повёл допрос:

— Я запрещал тебе это делать, боец Гораздов?

— Так точно, запрещали.

— А тебе начхать на мои запреты, так выходит, будущий орденосный боец Гораздов?

Санька помолчал, переминаясь с ноги на ногу, вздохнул.

— Выходит, так, товарищ старшина.

— Ну, тогда и мне начхать, в чём ты будешь ходить, мой разлюбезный боец Гораздов. Когда завтра тебе будут вручать медаль, одной чистой портянкой прикроешь срам, вторую наматываешь на голову, напоподобие чалмы, и, как индус, выходи из строя. А медаль пусть тебе приколют прямо на голую боевую грудь. Идёт такой вариант?

— Да я что-нибудь до утра придумаю.

— Ну, ты думай, думай, душа моя, а я уже придумал. За нарушение приказа командира и преднамеренную порчу казённого имущества, в виде сапог и фляжек, будешь копать новый сортир в дальней траншее. А старый засыплешь, а то уже дышать нечем. Тебе всё понятно... орденоснец?

— Так точно, товарищ старшина.

— Ну вот и действуй.

Старшина ещё раз грустным взглядом оглядел своего непутёвого солдата, сморщил лицо, плюнул

и неторопливо пошёл из землянки. У выхода он приостановился, назидательно оглядел бойцов и, дабы закончить воспитательный процесс, сделал вывод из происшедшего:

— Посмотрю я на вас — и хорошие вы ребята, но дури в ваших головах... хоть отбавляй. И драть я вас буду как тех сидоровых коз, потому как война — дело сурьёзное, и жизнью, Богом вам данной, рисковать надо разумно. Это вам не с девками полки-бабочки плясать.

Он надвинул на брови квадратный козырёк фуражки и вышел.

Ни медаль получить, ни сортир новый выкопать Саньке в этот день так и не пришлось. Медаль он получил позже, в госпитале, а сортир копал, видимо, другой грешник, и скорей всего — на том свете. А дело обернулось вот каким боком.

Пока Санька в землянке рассказывал свои похождения, на правом фланге обороны поднялась такая стрельба, что все повыскакивали в траншею. Как позже выяснилось, не зря немцы лупили минами по болоту. Это был отвлекающий шум. В это время, разминировав в наступившей темноте проходы по краю болотины, немцы задумали группой прорыва пробить оборону и занять господствующую высоту на сопке, чтобы оттуда ударить в тыл расположения полка. Хотя передовое охранение в сумерках и заметило наступление, но русский мужик так уж устроен, что пока не получит по сопатке, не расшевелится. Да и длительная оборона немного расхолодила. В общем, пока чухались, немцы местами ввалились в передовую траншею. И пошла молотьяба.

Комвзвода младший лейтенант Кузовлев коршунуном свалился в середину стоявших в траншее сапёров и тонким голосом, неумело матерясь, пошёл всех к месту боя:

— Тудыт вашу растудыт... чего рот раззявили? Бегом по траншее. Не видите, фрицы прут? Старшина! Где старшина?

— Туточки я, товарищ лейтенант.

— Я рванул с ними, а ты здесь подчищай по норам всю наличность — и тоже туда. Понял?

— Понял, лейтенант, я живо.

И старшина, нырнув в глубину траншеи, мгновенно исчез. Кузовлев, потыркавшись в спины бегущих по траншее бойцов, и решив, что ему, командиру, неприлично бежать последним, вымахнул наверх. Спотыкаясь о корни деревьев и всякое барахло, разбросанное по земле, он побежал, не пригибаясь, во весь рост, размахивая автоматом.

— Давай, давай, ребята, быстрее выходи из траншеи, за мной, давай...

Санька, в суматохе отлетев от чьей-то спины, придавил солдата из боевого охранения, стоявшего в стрелковой ячейке.

— Ты чего, свистун, бодаешься? А ну пошёл наверх! Команды не слышал? Устроили тут свалку-моталку.

— Да я не вылезу, высоко.

— А я тебе помогу, милоч,— и, схватив Саньку за загривок и галифе, солдат выкинул его, как котёнка, за бруствер.— Давай, орёл, шевели броднями. А сапоги-то где? Потерял со страху, что ли, защитничек... хренов?..

Санька упал на четвереньки, перевернулся и, быстро подскочив, рванул вдоль траншеи.

На босу ногу бежалось легко, и он скоро догнал младшего лейтенанта. Некоторое время они бежали рядом, и Санька слышал, как лейтенант, запалённо дыша, повторял чуть слышно про себя: — Давай... ребята... давай, давай... братцы... вперёд...

Ишь ты, «браток». И слово-то какое вдруг вспомнил, как припекло.

Кузовлева Санька откровенно не любил. Пришёл он во взвод недавно, когда уже стояли в обороне. Пришёл сразу после ускоренных курсов младших лейтенантов. Успели их там чему научить или нет, сказать трудно, но в сапёрном деле он был полный дуб. Он всё делал неумело. Неумело командовал, неумело матерился, неумело курил, давясь и кашля. Москвич, работал на заводе каким-то начальником, то ли мастер, то ли бригадир. В Москве, известное дело, и дворник для России начальник. Был на брони, но потом заводешко прикрыли, его пристроили на курсы— и прямым ходом на фронт. Попал он явно не в свою среду. Сапёры в основном— деревенские мужики, кроты. Народ грубый, обхождению не обучен. Попытался сначала командовать невпопад: «На пра... На ле...»— но его мужики втихушку послали пару раз куда следует, и он это неинтересное дело бросил. С взводом спокойно и рассудительно управлялся старшина. От греха подальше, младшему лейтенанту выкопали отдельную землянку, и он сидел там безвылазно, как сыч.

Иногда к нему наведывалась землячка, тоже москвичка, Женечка. Фунфыристая такая медсестра из санбата. Говорила нарастяжку, с подпевом, по-московскому. Девка бедовая, пулям не кланялась, но солдат держала на дистанции, по плечу не похлопаешь. Общалась только с офицерами. Кузовлева звала по-свойски— Игорёша. Кушала Игорёшину пайковое печенье, курила его папирсы и иногда, под настроение, пела ему, салонно подвывая, длинные классические романсы: «Гори, гори, моя звезда...»

Младший лейтенант, видимо, так и думал всю войну просидеть в своей землянке и слушать Женечкины романсы, а тут на тебе— немцы чего-то припёрлись. Так без них хорошо было. Вот и рванул как поджаренный. И солдаты сразу

«братцами» стали. Тоже мне, отец-командир. Ходуля московская.

Впереди, метрах в пятидесяти, в траншее слышались короткие автоматные очереди, крики, маты. Неожиданно со стороны болота ударила длинная пулемётная очередь. Немцы засекли бегущих на подмогу бойцов и пытались пулемётным огнём отрезать их от места прорыва. Кузовлев резко толкнул Саньку в плечо, и тот слетел юзом, на бок, в траншею. Винтовка больно ударила стволом по затылку. Больше лейтенанта он не видел. Перепрыгивая через лежащих на дне траншеи людей, Санька побегал вперёд, что-то крича и распаяя себя криком. В этом лихорадочном сумасшествии рёва и стрельбы в нём вдруг оглушительно вспухло, обжигая всё внутри, одно звериное, тупое желание ударить, вцепиться зубами и рвать на куски. На бруствере поднялась в прыжке фигура немца, и он с ходу выстрелил с руки в упор по этой фигуре. Немец мешком свалился вниз, головой перед ним, и Санька, перехватив винтовку, ударил его один раз, как дубинкой, по каске. Схватил отлетевший немецкий автомат и стал стрелять длинными, неэкономными очередями по наступающим. Ствол задирало вверх, и, крепко ухватив его руками, он прижимал автомат, посылая очереди низко по-над землёй. Автомат скоро замолчал, Санька бросил его за бруствер и, подхватив свою винтовку, рванул по траншее дальше.

Всё происходило как в жутком сне. Мелькали тени, глухо хлопали то одиночные выстрелы, то трескучие автоматные очереди, кто-то кричал, матерясь, и захлёбываясь собственным матом. Выскочив из-за поворота траншеи, Санька вдруг налетел на ослепительную вспышку. В правое плечо и бок тупо ударило, его крутануло на месте, и, потеряв ориентир, он стал падать в глубокую яму, хватаясь руками за что-то зыбкое и горячее. Падал долго-долго, ослеплённый вихрем искр, впивающихся в мозг, глаза, и задыхаясь от нестерпимой жары.

И нет той яме ни конца ни края...

Ранение было тяжёлое. Автоматной очередью, как швейной машинкой, прострочило плечо и правый бок. Операцию он не прочувствовал, долгое время был без сознания, да и потом, вернувшись из небытия, от слабости и большой потери крови почти постоянно спал. Иногда просыпаясь, Санька в мутной полудрёме видел каких-то людей вокруг, его кормили, куда-то несли, поили лекарствами, но окружающий мир был в зыбком тумане, и люди были с одинаковыми лицами, не запоминающиеся, будто промелькнувшие в окне вагона. Он пытался сосредоточиться, но сил не было, и Санька вновь проваливался в тягучую и болезненную муть сна.

Сны приходили с навязчивой постоянной определённостью, почти одни и те же. Часто во сне его распинали, как Иисуса Христа, на каком-то бревне и забивали гвозди в плечо, но только с одной, правой, стороны. И хотя было больно, и гвозди огненными жалами впивались в тело, он спокойно осознавал, что всё так и должно быть, и душа его не металась от страха.

В детстве Санька видел у старушки-соседки маленькую, но очень чётко выписанную икону, на которой Иисус Христос был изображён распятый на кресте, маленький, иссушенный и скорбный. Несмотря на всю жуть детского восприятия от прибитого гвоздями человека, Санька запомнил спокойные, ясные, не замутнённые страданием глаза Бога.

Но ему же должно быть больно!!

Санька спросил у бабушки, почему Богу не больно и Он не кричит. Бабушка Надя объясняла ему, что Бог пошёл на муки сознательно, дабы своими стараниями искупить все тяжкие людские грехи. А когда человек знает, за что он страдает, он не боится и переносит муки спокойно.

«...И мне тоже больно, мне очень больно, и меня прибивают гвоздями, моё тело терзают, оно стонет, но я спокоен, потому что так должно и быть... Я мужик, я солдат, я защитник... Я защищаю свою мать, Родину, и, кроме меня, их некому защитить... И я тоже беру на себя их страдания... Я мужик, я защитник...»

Мысли растекались, перемешивались со сном, обволакивая душу, боль притуплялась, Санькино дыхание выравнивалось, и только иногда лёгкий стон прорывался, коль вновь забивали гвозди в его беззащитное и истерзанное тело и они жалили, как огненные стрелы.

И ещё часто снились мать и сёстры, стоящие в чёрных одеждах. Они стояли полукругом, скорбно склонив головы, как на похоронах, и молча смотрели на лежащего Саньку. Он пытался им объяснить, что он ещё жив, он не умер, его не надо хоронить, он только ранен... Но женщины не слышали его, и лица у них были скорбны. Мать, укоризненно покачивая головой, тихо шептала губами: «Санька, Санька... Что ты опять натворил... Эх, Санька, Санька...»

— Раненый, раненый, просыпайтесь.

Санька открыл глаза. По губам легонько постукивали ложкой.

— Просыпайтесь, засоня, царство небесное проспите. Обедать пора.

Перед Санькой сидела ослепительной красоты девушка. Рыжеватые пушистые волосы, подсвеченные сзади солнцем, золотистым нимбом обрамляли розовое курносое личико. Серые глаза смотрели приветливо, и в них прыгали смешинки. — Ты кто?

— Я Саша, нянечка ваша, принесла вам кашу и буду вас кормить, потому что вы ещё слабый, двигать-ся вам нельзя, а есть можно и нужно. И вообще, пора просыпаться, потому что, говорят, вы спите уже вторую неделю,—она выпалила всё это на одном вдохе и, озорно наклонив голову, широко улыбнулась.

— А я тоже Саша, Саня. А почему я тебя раньше не видел?

— А я новенькая. Я студентка и между лекциями буду дежурить у вас нянечкой. Сегодня вышла в смену первый раз и буду вас кормить. Вопросов больше не задавайте, рот раскрывайте и кушайте кашку. Видите, как вы меня умили, я уже стихами говорю.

— Не надо меня кормить. Я сам буду.

— Сам, сам. Сам—это который с усам. А у вас усов нет. Рано вам ещё самому. Лежите, как барин, и наслаждайтесь женским вниманием. Такая симпатичная девушка за вами ухаживает, а вы ещё капризничаете. Правда я симпатичная?

Такого напора Санька не ожидал. Он густо покраснел и не знал что ответить. Вот чёртова девка. От смущения разозлился.

— Симпатичная, несимпатичная—какая мне разница? Ладно, корми, раз пришла.

Без аппетита и не разобрав даже вкуса еды, он немного поел, и Саша, утерев ему губы кусочком бинта, ушла. Вновь захотелось спать, но Санька, преодолев привычное желание, приподнял голову и увидел сидящего на соседней кровати черно-голового, лобастого и носатого парня, который, ухмыляясь, смотрел на него дружелюбно и весело.

— Ну шо, очухался, герой стреляный? Вижу, шо очухался, глаза проявились. А то всё были мутные, как у варёного судака. Ты никак столяром до войны был? Вся башку мне какими-то гвоздями занозил: «Бьют гвозди, бьют...»

— Да это я так, во сне. А почему герой?

— Потому шо пока ты лежал и думал, помирать тебе или нет, тебе тут медаль приносили. А потому как в таком тусклом виде ты всё равно не ощутил бы радости правительственной награды, её унесли и сказали: пусть сначала одыбаёт, а потом и наградим героя.

— Ты никак начальник наградного отдела?

— Та ни. Я Яшка Штальбаум, твой одноногий сосед, тоже герой, но, в отличие от тебя, не награждённый.

Санька повёл глазами и увидел, что парень сидел, опираясь на костыли, и одна нога выпирала обрубком под полой халата.

— Укоротило, значит?

— Та это ещё шо! Ты бы на мою задницу посмотрел. Голый ужас. Как пашня не боронённая. Всю перепахали фрицы поганые. Я связист, а у нашего брата, связиста, самая незащищённая часть—это задница. Немцы, наверное, думают, шо нам их

бронировать, и лупят, гады, изо всех орудий по ней, как по главной стратегической цели. Вот и не уберёшь. Наверное, броневойной сданули. Ну ладно, ты лежи тут, осматривайся, а я пойду ещё на Сашеньку погляжу. Она как сегодня утром зашла в палату, так самые дохлые доходяги ушами зашевелили. Счастливчик ты. Таку гарну нянечку тебе прикрепили. Вот радости-то будет, когда она тебе утку принесёт! — Яшка подмигнул своим чёрным бесовским глазом и шустро застучал костылями по проходу.

Санька, ворочая головой, огляделся. Стал вспоминать, что смутно, в бреду и полусне, он уже видел эти стены и расписанный трещинами потолок. Палата была расположена в школьном классе. На дальней стене висела чёрная школьная доска с нарисованным мелом Гитлером, удавкой подвешенным за непотребное место. Не перевелись ещё живописцы на Руси. Разномастных коек стояло штук двадцать. Раненые в основном, видимо, тяжёлые, так как ходячих почти не видно. Слева, на соседней кровати, лежал небритый пожилой человек с запрокинутой головой и закрытыми глазами. «Может, уже помер? Да нет, кадык на шее шевелился, и веки иногда коротко вздрагивают одними ресницами». Санька быстро устал и уже начал придрёмывать, но тут вновь прискакал Яшка на своих стукалках.

— Ну, Санёк, хороша Маша, да не наша. На одноногого несчастного еврея и не смотрит. Нет уж, милая моя, мы ещё своё возьмём, дайте только срок.

— Да уж, с одной ногой ты много возьмёшь.

— Тю, дурной. Та при чём здесь нога? Я гляжу, Сашок, ты кацап дремучий и мыслишь по-кацапачьи. Мужик не ногами силён, а головой. Та ты же не понимаешь, шо наш горемычный российский еврей тем и силён, шо из любой пиковой ситуации себе выгоду выкраивать умеет. Вот рассуди. Я тут пока лежал, так всё, как в Госплане, по полочкам разложил. Во-первых, я живой, шо, заметь, немаловажно в такой заварушке; во-вторых, война для меня уже закончилась, и ни одна паскуда по мне и по моей героической и израненной заднице больше пулять бронебойными снарядами не будет. А частичное отсутствие одной ноги я с успехом перекрою двумя умелыми руками. Я же часовщик и в этом деле разбираюсь, как раввин в талмуде. Мой папа, дай Бог ему здоровья на сто лет, учил меня этому с самого безоблачного детства. Он говорил мне: «Яша, сынок мой богоданный. Человек поимел необходимость знать время сразу после того, как слез с дерева. Обрато он туда не полезет, это уж точно, поверь мне на слово. А это значит, шо часы ему будут нужны, пока существует цивилизация. Из этого выходит, шо наша профессия вечна, как мир. Учись, сынок, не будь лайдаком, а не то я, как интеллигентный человек, буду пороть тебя каждый день после завтрака».

— Ну и порол?

— Ещё как. И после завтрака, и после ужина, и после обеда, на десерт вместо сладкого. Спасибо папе. Но ремесло в руки дал, за шо я ему безмерно благодарен, ещё раз дай ему Бог здоровья.

Яшка поудобней уселся на скрипучей кровати и, подбив тощую, набитую ватой по скромным военным нормам подушку, мечтательно поднял к небу глаза.

— Да, Санёк, я из трёх консервных банок и тележного колеса могу любой хронометр собрать, — оживился, крутанувшись на кровати. — Вот у тебя есть часы?

— Нет и никогда не было.

— Жаль, но не беда. Я подумаю та штой-нибудь тебе скомбинирую. У меня тут есть кой-какого хламу. Будут тебе часики. А хошь, я тебе покажу настоящие часы? Часы с большой буквы!

Яшка порылся в глубине своего необъятного халата и вытянул за цепочку массивные карманные часы. Осторожно положил Саньке на ладошку и нажал какую-то кнопочку. Крышка открылась, послышалась чистая серебряная мелодия. Санька, приподняв голову, посмотрел на циферблат и увидел, как по краю его плавно двигалось кольцо с непонятными знаками.

— А это что за закорючки?

— Балда, то не закорючки, а знаки зодиака. Каждому месяцу соответствует свой знак. Ты вот в каком месяце родился?

— В ноябре.

— Так, значит, твой знак... Скорпион. Вот он: видишь, какая бекарсина?

— Надо же.

— Заметь, шо стекло у них хрустальное, а ход рубиновый. Вот видишь гравировку на внутренней стороне крышки? Здесь написано, шо изготовил их в тысяча восемьсот девяносто седьмому году мастер из Кёльна Гуттберг. Это часы штучной работы. Я их выменял за махорку у одного охлобуя. Он таскал их в вещмешке, вместе с мылом и портянками. Бродяга. Та им же цены нет. Ты посмотри, какая гравировка!

Яшка защёлкнул крышку, и мелодия умолкла. На выпуклой матово-серебряной крышке тонкими чёрными штрихами, в обрамлении сложной готической вязи, был изображён замок на лесистом холме. Детали выписаны так мелко и чётко, что проглядывались даже оконные переплёты.

— Да, хороша машинка. Как же она ему досталась?

— Говорит, нашёл у разбитой немецкой легкопушки. Какой-то генерал ехал. Генерал вдребезги, а часы идут. Во техника! — Яшка аккуратно завернул часы в тряпочку и спрятал внутри халата. — Ну, понял, шо такое настоящие часики? А ты говоришь — нога. Та сейчас братья-славяне с войны навезут столько всякого часового хламу — до скончания века работы хватит и с одной



ногой. Та я ж по работе такой соскученный, всему Советскому Союзу часы отремонтирую. День и ночь буду работать.

— А родители живы?

— Та, слава Богу, пока живы. Мой мудрый папа, как гроссмейстер, на тыщу ходов всё вперёд рассчитал. Вот уж Соломон так Соломон,—почесал в затылке.— Можя, и я на старость лет таким же мудрым буду, на что глубоко надеюсь,—ещё раз почесал, вздохнул.— Вообще-то вряд ли. Мой папа, говорят, и в молодости умным был, не то шо я, пройдак. Ну та ладно, слушай. Но я, пожалуй, шоб тебе було понятней, начну от сотворения мира. Так вот, наш несчастный и вечно гонимый еврейский народ и не вымер полностью только потому, шо прошёл естественный отбор. Ты знаешь, шо такое естественный отбор? Не знаешь. Ну так это... если попроще, для тумачков... это когда в вечной борьбе за существование выживают только умные. Во как я завернул! А от них такие же и родятся. Еврейские дураки давно уже все вымерли, как мамонты. За ум евреев и не любят. Как какая новая власть появляется, так первым дело шо? Правильно говоришь—бей жидов. А за чем их бить? Их к делу приспособить надо, они же у-умные. А всё потому, что умные опасней дураков. А значит, бей их, пархатых, шоб другим неповадно умничать було. Вот ты скажи: ты евреев любишь? Тока правду, без булды.

— Да я и не знаю. У нас в Сибири они не водятся. Татары живут, хакасы, хохлов много, а с евреями я как-то не очень.

— Ну вот и правильно. Зачем умный еврей будет жить в холодной Сибири, когда можно прекрасно прожить и на юге?

— Значит, евреи умные и живут в тепле, а в Сибири одни дураки остались? Здорово у тебя выходит.

— Вот видишь, и ты уже начинаешь нас не любить. Ещё немного—и зорёшь: «Бей жида Яшку по курносому носу»,—И Яшка, смешно скосив один глаз, посмотрел на свой крючковатый массивный нос.—Ну, давай ори.

— А чего мне орать? Живи ты... где хочешь. Я уж тут поглядел разных краёв, так лучше нашей Сибири и нет. Там моя родина, так что мне и там хорошо.— А моя родина—Жмеринка. Есть там недалеко райский уголок, местечко блажное. Бог себе оставил, та потом пожалел еврея и ему отдал. Ух и место! А как сады зацветут...

Яшка резко замолчал, прилёг на кровать и, запрокинув руки за голову, долго лежал, уставившись в потолок. Санька понял, что в своих воспоминаниях он глубоко копнул и зацепил за большое. Вряд ли на Украине скоро сады зацветут. Ладно, пусть помолчит, расстроился парень.

Прошло несколько дней, как Санька вернулся из бредового небытия. Сменные нянечки, баба Нюра,

Мария Васильевна кормили его из ложечки тёплым бульоном, сёстры ставили уколы, и Санька помаленьку вживался в госпитальную жизнь. Яшка целыми днями мотался по палате, сосед слева, так и не приходя в сознание, умер, и кровать оставалась пустой. Санька заскучал и невольно поймал себя на мысли, что думает о Саше. Вот уж, правда, чёртова девка, влипла, как смола, в голову. Вечером он попросил Марию Васильевну написать домой. Писать письма Санька не любил, да, честно говоря, и не умел, а тётя Маша на этом нехитром деле так напрактиковалась, что всё написала сама, спрашивая только имена да степень родства.— Ну вот, милоч, всё и прописала. И что ранен ты легко, и что у тебя всё хорошо, а сам написать не смог, так то, что рана в руку. Чего мать лишний раз беспокоить, у ней, небось, и так душа-то поизболелась. Вечор и кину в ящик. Ещё надо чего?— Мария Васильевна, а где Саша?

Мария Васильевна заулыбалась, собрав морщинки у глаз.

— Ну вот, раз про девок спрашивашь, значит, на поправку пошёл. Экзамен сдаёт ваша коза-дереза, скоро будет. Мне твой дружок Яша уже все уши продундил: где да где?

— Да я так заинтересовался.

— Вот и он так. Ну ладно, я пошла свои дела доделывать, а ты лежи, милоч, поправляйся.

— Спасибо, Мария Васильевна.

— На здоровье, сынок. Надо чего будет—кликнешь, я туточки.

Ночью раны грызут и ноют сильнее, и к утру бок так разболелся, что уснуть Санька уже не смог. Ночная палата госпиталя, где собрано столько страданий и боли,—жуткое дело. Кто стонет, кто хрипит, а кто и довоевывает свою недовоеванную войну, вскрикивая в тяжёлых снах. Война калечит человеческую душу глубже и тяжелей, чем тело. Раны—что, заросли да и забылись, а осадок из страха, жестокости и кошмаров военной мясорубки оставляет в мозгу такие рубцы, что никаким временем не залечишь. Вот и страдают живые люди с калеченой душой, продолжая в сонном забытии ходить в хоженные уже атаки и убивать уже убитых врагов. Вчера после обеда пожилой полковник, военком местного военкомата, вручал раненым награды. Вручили и Саньке его «Отвагу». Осторожно повернувшись, он пошарил рукой на тумбочке, положил медаль на ладонь и долго-долго смотрел на металлический кружок, тускло поблёскивающий в темноте. И радоваться вроде бы надо, награда как-никак, а грустно на душе. Вспомнились дружок закадычный Васька Нырк, старшина Осипов, ребята из взвода. Знал их, кажется, всю жизнь. Вспомнил и понял, что уж больше никогда их не увидит. А младший лейтенант Кузовлев так и остался у траншеи, срубленный

пулемётной очередью, от которой уберёт Саньку. Вот тебе и «ходуля московская». Мог бы и сам увернуться, так нет, его, дурака полоротого, спасал.

«Прости меня, лейтенант, если сможешь. Пусть твоя душа упокоится...»

Что стало с остальными, он не знал. В госпитале ребята говорили, что после неудачного прорыва немцы устроили там такую бомбёжку, что перемесили в месиво всё, вместе с песчаными холмами и болотом, и, пожалуй, мало кто уцелел в той огненной каше.

— Ну, где тут наш герой? А я и не знала, Саня, что ты такой отважный. Поздравляю. Молодец. Ну, как дела, орлы с насеста? Чем занимаетесь?

— Да так, ничем. Вот с Яшей всё про жизнь толкуем.

— Ну, толкуйте, толкуйте. Только ты, Санёк, особенно его не слушай. Научит чему непотребному. Жук тот ещё.

— Ну вот от вас уж никак не ожидал, Шуручка. Так долго вас не было, я так страдал, а вы пришли — и сразу обижать, — Яшка скукожил оскорблённую мину. — Та я ж с полной душой к нему. Он парень молодой, неискушённый, вот я ему и толкую, шо та как в той жизни.

— Вот-вот. И хорошо, что неискушённый. А вы, Штальбаум, его испортите. Я вижу, какой вы ловелас, всё нашим девочкам головы морочите. И не надо такие большие глазки делать. Может, неправда? Мне вы что говорили на ушко, а?

Яшка хмыкнул, и, крутанувшись на костыле, шустро запрыгал по проходу.

— Ох, черноглазый, — Саша покачала головой. — Не слушай его, тёзка, балованный он девушками.

— Да ладно тебе. Что я, маленький? Чего ты меня учишь? Тоже мне училка. Чего пришла?

— Ишь ты, сразу раскипятился, как холодный самовар. Чего пришла, того и пришла. Я к нему с поздравлениями, а он, неблагодарный: чего пришла? Дай-ка посмотрю бинты, доктор сказал — на перевязку тебя.

Саша присела на кровать и, приподняв одеяло, наклонилась, рассматривая повязку. У Саньки аж голова закружилась от нежного запаха молодой и симпатичной девушки. Господи, да так же без пули умереть можно. Злость на Сашу за обидные нравоучения моментально прошла, и её маленькое розовое ушко с капельной серёжки вызвало такой неожиданный для него приступ умиления, что сердце заныло от непонятной и сладкой боли. Саша возилась с бинтами, слегка придавив Саньку грудью, и, глядя в упор на её курносый профиль, Санька почувствовал, как его лицо предательски загорелось ярким пламенем. «Стыдоба-то какая — распылался, как девица».

Саша, окончив осмотр, прикрыла одеяло и, посмотрев на Саньку, приложила руку ко лбу.

— Гораздов, у тебя опять температура.

— Шуручка, это у него от вас температура, — оказывается, Яшка уже стоял сзади, заглядывая через плечо. — У меня вот тоже за сорок прыгнуло от вашего присутствия.

— Ох, Штальбаум. Вы неисправимы. Вот закачу вам снотворного, чтоб не прыгали, как молодой петушок.

— Шуручка, имею к вам вопрос. А почему вы Сашка на «ты» называете, а меня на «вы»?

— А потому что он неиспорченный и симпатичный парень, а с вами надо ухо остро держать. «Вы» — это дистанция безопасности.

— Ага, понятно. Значит, вам он милей, чем я. А Яшку, значит, можно и по шее. Вот всегда так: чуть шо, так Яшку по шее. Ну а насчёт того, чтоб усыпить меня, так не придумали ещё такого снотворного, чтоб я впал, як тойдохлый курёнок. Слаба ваша медицина. А вот вам бы я порекомендовал не стесняться молодого человека неосторожными прикосновениями вашего прелестного бю... фигуры, в общем.

Саша смутилась, вспыхнула румянцем и быстро ушла.

Яшка возбуждённо потер руки:

— Ага, порядок. Один-один. Боевая ничья. Победила дружба. Но, честно вам признаюсь, молодой человек, от таких девушек я дурею, как молодой дятел. А ты шо ж скраснелся? Нет, конечно, понимаю. Если б меня так нежно примяли тем местом, та я вообще б в головешку превратился. Санёк, а ты с девушками целовался?

— Да иди ты, страдатель. Целовался, не целовался. Конечно, целовался.

Это было откровенное враньё. Никогда Санька ни с кем не только не целовался, но и рядом не ходил. Для девушек он не представлял никакого интереса. У угрюмого и настороженного, с неказистой малорослой фигурой, парня шансов понравится девочке почти не было. Глядя на своих сестёр с их фырканьем и каверзами, Санька считал девушек исчадием коварства и зла, и ничего хорошего в своей и так нелёгкой жизни от женского племени он не ожидал. Какое уж там целование! От вранья и неопытности Санька покраснел ещё больше. Искушённый Яшка понял это сразу и тут же плеснул масла в огонь:

— А Сашенька, похоже, в тебя влюбилась. По уши и враз. Ишь как оглаживает, даже завидно.

— Да ладно тебе. С чего ты взял?

— Так все в палате говорят. Вон, Мишка Мукасей, — Яшка показал костылём на угол палаты, — хочет от ревности из клизмы застрелиться. Говорит, что полюбил всем сердцем нашу Сашу, а она только тебе знаки внимания оказывает.

— Врать ты, Яша, будь здоров. Ты лучше про своего умного папашу расскажи.

— Вот застрелится Мишка, ты под трибунал пойдёшь. Смотри, смотри, какую ему здоровенную

клизму понесли. Как гаубица. Такая одним выстрелом ползвода положит,—Яшка проследил взглядом, как нянечка несла по проходу большую, красной резины, клизму с чёрным блестящим наконечником.—Ох, Санёк, бедовый ты парень.

Яшка улёгся на кровать, пристроив костыль под обрубок ноги, запахнул полы халата и, подложив руки под голову и глядя в потолок, немного помолчал, вспоминая.

— Да уж, папа мой—мудрец. Ну ладно, жених, слушай.

Яшка долго молчал, прикрыв глаза, вспоминая. Встряхнулся...

— Когда немцы оккупировали Польшу, мой несравненный папа помрачнел и замкнулся. Вообще-то он человек весёлый и общительный. Мама в молодости не раз плакала от его излишней общительности, особенно с женским полом. А тут—ша, ни песен, ни басен. И вот как-то в апреле сорок первого, вечером, когда детей уложили спать, а у меня ещё брат с сестрой, двойняшки, им тогда было по девять лет, он позвал нас с мамой на кухню, усадил и повёл такую речь: «Как человек интеллигентный и грамотный, я долго думал и пришёл к печальному выводу, что война с Германией неизбежна и случится это в самом скором времени. Для такого вывода не надо быть Соломоном, надо просто в два глаза читать газеты и иногда в два уха слушать радио, но при этом не ловить мух, а думать головой, коль Всевышний вложил туда мозги. До границы рукой подать, и как бы ни была сильна Красная Армия, я думаю, сразу Гитлера она не остановит. А от германца еврейю ждать добра не стоит, как и от любой новой власти. А посему такое моё решение. Нам с Яковом, как мужчинам, придётся идти на войну, а тебе, Соня, с детьми надо отсюда уезжать. Не делай, пожалуйста, испуганные глаза, но поплакать, как женщина, немного можешь. У меня в Кирове живёт старый и добрый друг, и я ему отправил кой-какие небольшие сбережения, с просьбой присмотреть подходящую халабуду на временное проживание. Вчера получил от него ответ, ты видела, Соня, тоё письмо. Он написал, шо выполнил мою просьбу, и шоб не устраивать цирк за твой уезд, о том, что у тебя заболела любимая тётя по линии бабушки Фриды, мы скажем по секрету только Шапирам. Я думаю, денька два-три они вытерпят, и всё местечко за тот секрет будет знать, когда вы уже уедете. Шо дети не доучатся в школе, это не страшно, они у нас и так умные. И ещё слушайте сюда. Сейчас пойдём в сад, и я вам покажу место, где заховаю мой инструмент на той случай, если придётся уходить. Он мне достался от папы и от дедушки, и я не могу допустить шоб такая ценность была разграблена».

Яшка вздохнул, поправил подушку и, закрыв глаза и упокоительно сложив руки на груди, продрожил:

— Вот так рассудил мой мудрый папа. Мама уехала, война началась в предсказанный им срок, мне пришла повестка в военкомат, и ты знаешь—ведь он пошёл вместе со мной. Я отговаривал его как мог, ссылаясь на возраст, болезни, но мой не очень патриотически настроенный папа сказал мне: «Яша, сынок, я хотя и немолодой, но мужчина, и я должен защищать мою семью и мою Родину». Его, конечно, признали негодным к строевой службе, но он пошёл добровольцем, и его, как часового мастера, направили в минноторпедную мастерскую Балтфлота. Вот оторви мне, Сашок, вторую ногу, шоб я мог представить себе в похмельном бреду моего папу в бескозырке. Та он когда на улице встречал матроса, то быстренько переходил на другую сторону дороги, ввиду того шо в молодости, пережил еврейский погром революционных матросиков-анархистов. И вот тебе гримасы судьбы: мой папа—матрос. Голый ужас!

— А он знает про твои дела?—Санька кивнул на ногу.

— Да, я ему сразу написал, шоб он маму осторожно оповестил. Сам побоялся писать.

— Ну и куда ты теперь?

— Поеду к своим, в Киров. Мама ждёт.

Через два дня, ночью, Яшка умер. Утром сестра стала его будить на процедуры, а он холодный. Потом сказали, что оторвался послеоперационный тромб и что-то закупорил в сердце. Смерть была лёгкая, во сне. Много видел Санька всяких смертей—и героических, и глупых. Война есть война, и человек ко всему привыкает. Но чтоб вот так, в тишине и покое, на чистой постели... Смерть Яшки показалась ему противоестественной и до слёз обидной. Ну разве ж так можно?

Эх, Яша, Яша. А собирался всему Советскому Союзу часы отремонтировать. Видать, судьбу не обманешь.

Любовь и смерть на войне рядом ходят, и Яшкин неожиданный и по-военному непонятный уход из жизни хотя и огорчил Саньку, но ненадолго. Рядом была Саша, Сашенька. Он прекрасно понимал, что о взаимности и речи быть не может. Такая красавица и умница—и он, простреленный коротышка. Но Сашенька для него была открытием. Жизнь человека вся состоит из открытий. Добро и зло, любовь и ненависть впервые приходят неожиданно и удивительно. Вот и в его жизнь Сашенька пришла как фея из сказки, возникла вдруг в ярком солнечном свете, лёгкая и пушистая, озорная и недосыгаемая. Неужели есть девушки красивей? Он ловил её взглядом, когда она входила в палату,

узнавал по звуку шагов, мучительно краснел и тупел, когда она с ним разговаривала.

Какое же, оказывается, это чудо — женщина!

Санька уже вставал и потихоньку двигался по палате. Раны заживали плохо, дышать приходилось насторожённо, чуть-чуть, малыми глотками. Часто наваливался тяжёлый и надсадный кашель, и из глаз летели искры от боли при каждом резком движении. По ночам лихорадила температура, внутри всё горело и пекло липучим жаром. Саша из дому принесла банку мочёной брусники, и Санька пил кисленький морс, сбивая температуру. В палате появилось много других тяжелораненых, и Саша была занята, но в свободное время она часто прибегала к Саньке, и они болтали, вспоминая детские игры, довоенную жизнь. Иногда, к своему удивлению, Санька ловил на себе лёгкий, чуть касательный и, как ему казалось, ласковый взгляд Сашиних серых глаз.

Ох уж эти глаза! Они и радовали, и настораживали. «Нет, нет и ещё раз нет! Несерьёзно это всё. Ну на черта я ей нужен? Хотя, с другой стороны, — думал Санька долгими госпитальными ночами, — а чем я хуже других? Не такой уж и замухрышка. Ростом я её не меньше, ну а что лицом — так мужики, как обезьяны, почти все одинаковы. Откровенные красавцы редко встречаются. Девушка строгая, неизбалованная. Живёт с бабушкой, мать умерла, когда она была ещё маленькой, отец — военный, с первых дней на фронте. Тем более что, оказывается, она тоже сибирячка, жила в Новосибирске, и в этот городишко, к бабушке, переехала всего два года назад. Чем чёрт не шутит — а вдруг я и вправду ей нравлюсь?» Сомнения драли Санькину душу, как собаки старую кость.

Однажды Саша, где-то к вечеру, заговорщицки шепнула Саньке, чтобы он прошёл в процедурную. Сердце вздрогнуло от сладких предчувствий: «Неужели?»

Когда он зашёл, в комнате сидели нянечка, Мария Васильевна, и сестра-хозяйка, пожилая и грузная тётя Сима.

— Заходи, Саня. Вспомнили сегодня что-то дружка твоего, Яшу, да вот и решили помянуть. Хоша он и не нашей веры, а всё ж Божья душа, — захлопотала Мария Васильевна. — Садись. Как у них, у иудеев, помянуты, мы с Симкой не знаем, так помянем его по-нашему, по-православному. Шуручка, и ты рядом устраивайся. Вот так, рядом да ладком.

Саньку усадили на жёсткой медицинской кушетке, Саша присела рядом, слегка прижав его боком. Близость её, сидящей рядом, тепло её бедра и необычность обстановки разволновали Саньку так, что где-то внутри он почувствовал лёгкий мандраж. Тётя Сима достала из шкафчика небольшую мензурку спирта, а вместо рюмок выдала всем медицинские банки.

— Ну что ж, помянем, не чокаясь, раба Божьего Якова, не знаю, как его по батюшке, царства ему небесного. Хороший парень был, весёлый. Все наших девок тут перемял, несмотря что калека. Пусть земля ему будет пухом, — Мария Васильевна махом опрокинула баночку, покачала головой, занюхала выпивку рукавом халата. — Ну а вы что сидите, гаврики? Помяните дружка своего, чтоб ему легче на том свете пребывалось.

— Да я и не пила никогда спирт, он крепкий такой, опьянею ещё, — Саша держала свою баночку, смущённо оглядываясь на застолье.

— Да чего там пить — капочку и плеснула. Набери воздуха, выпей да и выдохни. Водичкой запей. И делов-то. На вот хлебушка на закусь.

Саша набрала воздуха, проглотила спирт и, вытаращив глаза, замахала руками.

— Водички ей, водички. Вот и всё. Ну как, соколом али колом пошла?

У Саши из глаз потекли слёзы, она жевала хлеб, мотая головой и судорожно хватая воздух.

— Какая гадость. Как можно пить такой яд?

— Вот так и мучаемся, милая. Слёзки-то вытри. Раз поминки, грех не выпить. Положено так по-православному.

Саша вытерла слёзы, пожевала кусок хлеба. Подперев по-бабьи щёку, горестно вздохнула.

— И я недавно Яшу вспоминала. Ругала вот его, что он за девчонками волочитя, сердилась, когда он с разговорами всякими приставал. И вот нет его. — Ну дак чо ругать-то? Молодой был, вот и липнул к девкам. Эх, где наша молодость. Вы вон какие хорошенькие сидите. Как два огурчика. А, Симка, чо молчишь? Забыла уж, поди, когда к тебе парни приставали?

— Дак как там парни, Маня, Господи, вспомнила. Тоже мне молодка. Тут не знашь, как до дому доползти, — тётя Сима давно уже управилась с выпивкой и беззубо мусолила корочку. — Ладно, Маня. Засиделись мы. Помянули Яшеньку, царствие ему небесное, и пойдём ужо. А вы, ребята, ещё посидите, поговорите. Эх, Шуручка, мужика бы тебе такого, как Саня. Нравится он мне. Не смотри, что ростом мал, — кремень мужик. За таким — как за каменной стеной. Я-то уж знаю, со своим тетёхой намучалась, прости меня Господи. А ты знаешь, Саня, чего она, дурочка, удумала? Она же на фронт собирается.

— Как на фронт? — он растерянно посмотрел на Сашу. — Ты... на фронт?

— Да ладно вам, тётя Сима, уже и разболтали. Саня, я тебе потом всё расскажу.

Санька смотрел на Сашу, ошеломлённый неожиданной новостью. От выпивки щёчки у неё раскраснелись, как маков цвет, и она сидела, потупив взгляд. Бабушки быстренько засобирались и пошли. Закрывая дверь, тётя Сима украдкой озорно подмигнула Саньке.

Оставшись вдвоём, они долго сидели молча. Что в таких случаях делают, Санька не знал, да и неприятная новость совсем сбила его с толку. — И кто тебя надоумил на это дело? — Мы всем курсом написали заявления. — И много вас, таких дурочек? — Саня, не говори так. Ты не имеешь права так говорить. Мы не на вечеринку собрались! Ты же воюешь. Медаль вон получил. — Вот то-то и оно, что не на гулянку. А я имею право так говорить — хотя бы потому, что знаю, что это такое. Глупая, там же смерть кругом и рядом ходит. Там маты, там вши, грязь. Дети вы, дети, куда вас несёт? Да никакая медаль не стоит и капельку твоей жизни.

Он представил себе это Божье создание в промёрзлом окопе, среди стрельбы, грохота и воя мин и снарядов. От ужаса такой картины Санька потряс головой, отгоняя дурные мысли. — Саша, милая, послушай меня, остановись, не делай глупости. Учись, пока есть возможность, пусть мужики воюют.

Саша встала, и, повернувшись к нему, положила руки на плечи. Долго молча, слегка наклонив голову, глядела Саньке в глаза, и он почувствовал, что её взгляд проникает в самую потаённую глубь. Он тоже медленно поднялся и стоял, опустив руки, не зная, что сказать и как себя вести. Сказал пересохшим от волнения голосом:

— Саша... я думал... ты не понимаешь... — Эх, Санёк, Санёк. Это ты ничего не понимаешь, воин мой отважный. Не одолеть вам войну без баб. Это уж факт, — Саша обняла его за шею, прижала к себе. — Ты хороший... ты самый хороший... я... И молчи... молчи...

Её горячие губы заслонили Саньке весь мир, всю его прошлую жизнь, войну, эти стены, солнце, всю Вселенную... И осталась только одна она... она... его Саша, Сашенька...

Прошло несколько дней. Саша не появлялась, и душа Санькина изболелась от дум, как остановить упрямую девчонку. И сколь ни думал, а пришёл к неутешительному выводу, что все его уговоры будут бесполезны. «Эх ты, мать честная, не оставишь ведь тебя, глупую». Он на миг представил себе размочаленную осколками её золотистую головенку, и озноб продрал по шкуре. «Ах ты ж, Шуручка-дурочка, ну истинный Бог, дурочка. Им бы, свиристелкам, в войнушку поиграть. И я тут со своей медалью, чтоб она провалилась. А сколько их без медалей в землю зарыто, она, глупая, не видела. А сколько их, девчонок желторотых, в первом же бою срубило. Им бы жить да жить, детей рожать, мужиков любить, а их пулями да осколками в куски».

Санька вдруг почувствовал себя старым, усталым и мудрым мужиком рядом с этой беззащитной

пушистой белочкой, и вместе с тем острое чувство беспомощности давило оттого, что он не может защитить, закрыть её собой, как это делают родители, безоглядно защищая своих детей

— Здравствуй, Саня! А я прощаться пришла. Всё, завтра отправляемся.

Саша стояла строгая, незнакомая, в гимнастёрке и зелёной юбке. Вместо пышной золотистой гривы — короткая стрижка, делающая её похожей на мальчишку. Серые глаза грустны и тревожны. — Прости, Саня, и прощай. Может, я и полюбила тебя, не знаю. Не время сейчас разбираться. Я долго думала: возможно, ты и прав. Ты опытней меня, много уже испытал, но я не могу сегодня по-другому. Война, Санёк, и надо воевать, а я не мышь, чтоб в норе сидеть. Не грусти, выздоравливай, не забывай меня и пиши.

— Куда ж тебе писать, боец ты мой сероглазый? — А так и пиши: «Действующая армия, Саше Зыряновой».

— Ну и ты мне пиши: «Действующая армия, Сане Гораздову».

— Ладно, Саня, напишу. Ну всё, я пошла, а то расплачусь. Не поминай лихом, Санёк.

Сашенька, не стесняясь раненых бойцов, поцеловала его долгим поцелуем, вышла на середину палаты и, помахав рукой на ходу, звонко крикнула всей палате:

— До встречи на фронте, ребята! Выздоровливайте!

Ну вот и всё. Ушла...

... Живи, Саша.

Зима 1944 года на Украине выдалась на редкость тёплая и слякотная. Всё утонуло в вязкой и липучей грязи вперемежку со снегом. Муха была, а не зима. После освобождения Киева 1-й и 2-й Украинские фронты так удачно пробili немецкую оборону и двумя клиньями глубоко врезались в тыл, что около десяти немецких дивизий оказались практически окружёнными.

Завязывалась Корсунь-Шевченковская операция.

Санька, подлечив своё героическое ранение, отлежавшись на чистых госпитальных простынях, встретив и потеряв свою первую любовь, попал как раз в самую заваруху. Сапёру на войне всегда работа найдётся. Отступаем — свои мины ставим, наступаем — немецкие выковыриваем. А хрен редьки не слаще. Что так смерть за спиной, что так. Унемецких, правда, паскудства больше. Они народ европейский, грамотный. Разве русский может такую стерву придумать, чтоб она, как чёрт, подпрыгивала и плевалась осколками? Много народу этими сучьими «лягушками» попортило. И бьёт, подлюка, понизу, по самым уязвимым

мужским местам. Если и жив останешься, то отцом можешь и не быть.

Однако на передовую Санька не попал. Ранения считались тяжёлыми, и его вместо передовой направили в группу второго разминирования. При быстром продвижении войск так обычно и делали. Сапёры первого эшелона проскочили, дороги прочистили — и дальше. А уж потом начинается капитальная чистка. Санька поначалу обрадовался. Надоело на пузе ползать, стёр, поди, уже наполовину о фронтовую землю.

Но когда расчухал, что это за работа, радость поутихла. Хоть и пули над головой не так часто свистят, но шансов гробануться оказалось поболее. Немцы в этих местах стояли долго и так успели землю и всё, что на ней находится, изгадить и напичкать всякой взрывчатой дрянью, что и плюнуть некуда. Только человек может так изощряться в способах уничтожения себе подобного.

Народ во взводе был в этих делах опытный, и Санька быстро научился разгадывать фрицевские загадки. На пару с ним работал татарин Юсуп Гилялетдинов, с рыжей сучкой по кличке Дуня. И собачонка-то так себе, шавка. На улице встретишь — и пнуть не жалко. Но умная и хитрящая, как и всё бабье сословье. Кто её тренировал, неизвестно, но, кроме запаха на взрывчатку, её натаскали и на запаха спиртного. Как она чуюла стеклянные бутылки, только её собачий нос знает. Стекло же не пахнет. А может, и сама сообразила, что от неё требуется, кроме основной работы, потому как после каждой удачной находки она получала еды поболее и повкусней. Санька не знал этих фокусов, и когда однажды она отметила место и, покрутившись задницей по земле, вдруг побежала к Саньке, он не понял.

— Дуня, место, место!

Собака, по правилам, должна дожидаться инструктора и только тогда осторожно отойти в сторону.

— Да не ори ты, — Юсуп подошёл к Саньке сзади, хлопнул по плечу. — Он правильно своё дело делает. Пойдём, покажу.

Нисколько не осторожничая, он быстро подошёл к тому месту, где крутилась Дунька, немного погрёб кучу мусора от обвалившейся стены избы и вытащил несколько бутылок.

— Ну вот, Дунь, молодец, Дунь, будешь сегодня тушёнка жрать. А мы будем вино жрать. Чего там Аллах послал?

А послал им юсуповский Аллах, две бутылки французского «Камю» и бутылку шампанского. Хороший у него Боженька, не хуже нашего.

Бывали и осечки. Отмечала она как полные бутылки, так и пустые. Юсуп её не ругал, и свою порцию Дунька получала сполна, чтоб не нарушать учения товарища Павлова об условных рефлексах. Юсуп учёных трудов знаменитого физиолога

не читал, так как был абсолютно неграмотным, и объяснял это по-своему, как истинный татарин, перебирая все падежи и склонения:

— Он не человек, он не понимает. Ему сказали — ищи бутылку, он и ищет. А пустой бутылка или полный, это уж наше дело, — и, поглаживая собаку по голове, ласково приговаривал: — Умный Дуньк, умный, как мой баба. Я дома, бывало, уж как только бутылку ни прятал, а он всё равно найдёт. Умный баба, Соня зовут.

Кроме умной бабы по имени Соня, у него было ещё два сына, Рустем и Хаким. Всю жизнь проработав конюхом в деревне, где-то в глуши Казанской области, грамотой он не владел, ни русской, ни татарской, и жестоко страдал от этого. В их деревне был один, надо сказать, странный грамотей, который почему-то писал ему письма от жены, используя татарские слова, но написанные русскими буквами. Иногда при громкой читке получались такие словосочетания, что мужики падали от хохота. И Юсуп обижался. Он забирал письмо и молча уходил в сторону. Долго сидел, глядяваясь в неведомые ему закорючки, сопел обиженно, вздыхал. Прохохотавшись, письмо благополучно дочитывали, мир восстанавливался, так как Юсуп был человеком абсолютно незлобивым и добрым и по-своему пересказывал, что там творилось в Казанской губернии.

Когда он писал ответ, хохоту было не меньше. Чтобы полней изложить свои мысли, он тоже просил писать русскими буквами татарские слова. Ну как русский человек может русскими буквами передать татарские мысли? Слушая, что в итоге получалось, братва закатывалась до икоты, а Юсуп злился и ругался ещё больше:

— Ты чего же написал, шайтан? Он не поймёт, шапку я новый получил или я уже убитый. Напугаешь бабу. Он у меня человек чувствительный, песни жалобный умеет петь. Какой ты, Санька, дурной. Не можешь по-человечески написать, чего мой голова думает. А ещё грамотный. В школе надо было лучше учитель слушать, а не в носу ковырять. — Юсуп, ну не сердись. Если бы я в татарской школе учился — другое дело. Я твои слова и выговорить-то не все могу, не только написать. Да не горюй ты. Раз письмо есть, значит, жив. Соня твоя и так от радости прыгать будет. А в шапке ты или без штанов, ей не так уж и важно. Главное, живой и всё на месте. А придёшь после войны — и сам расскажешь, как ты тут французский «Камю» кружкой хлебал, как бражку. Эх, Юсупка. Выжить бы, а уж рассказывать потом будет что.

Они сидели на бревне, привалившись к облупленной стене сарая. Солнышко пригревало, и местами земля, оттаявшая от снега, парила духмяным ароматом навоза, огорода и чего-то остро домашнего, отчего щипало в носу и хотелось тихо поплакать. Юсуп, откинув голову, закрыл глаза,

и только веки чуть подрагивали. Мыслями он был там, на своей родной татарской родине, и видел жену, сыновей, степь свою бескрайнюю, с холмами и увалами. Санька, поглядывая на него искоса, попросил:

— Юсуп, чем грустить, спой-ка лучше свою «дрын-дрын», а то что-то скучно стало.

Это был коронный номер Юсупа и всегда пользовался неизменным успехом у публики. Юсуп, не открывая глаз, поднял заскорузлые пальцы ко рту и, слегка перебирая ими по губам, медленно начал напевать тихо, про себя:

— Дын-дырырын-дын-дын-дын-дын... Дыра-а-а... Дын-дын-дын-дын...

Слов не было. Юсуп считал, что петь он не умеет, а значит, и нечего слова песни портить. Да и зачем слова? В песне душа требует мелодии, ритма. А ритм был — то плавный, повторяющийся, то рваный, с неожиданными остановками. Звук всё усиливался, ритм ускорялся. Он уже притоптывал ногами, и вдруг, вскочив, Юсуп пошёл кругами, выворачивая то ступню, то колено:

— Дын-дырырын-дырырын-дын-дын-дын...

Он поднимал то правую руку, то левую, наклонив при этом голову, и парил, словно орёл над степью. Солдаты, окружив его, встали широким кругом, прихлопывая в такт, а кто и приплясывая на месте. Юсуп, закинув руки за спину, как крылья, кружился в своём языческом танце, и что-то вольное, непокорное, оставшееся от Золотой Орды, летевшей диким хороводом над древней Русью, завораживало людей. Саньке казалось, что он никогда не остановится и эта пляска будет вечной, как вечно Земля и вечен человек на этой Земле.

... Но рядом гибли люди. Умиralи, не докружившись в своём танце жизни. Умиralи с недоумением: неужели это всё? Но так не должно быть! Не должно!! Может, природа ошиблась? И, не получив ответа, человек уходил, унося с собой недоумение...

Работы было много, очень много. Хотя немцы, при всей их цивилизованной изощрённости, надо сказать, всё-таки народ шаблонного склада ума. И методы их минирования тоже были в основном шаблонные, хотя встречались и оригинальные пакости. При разминировании колодца погиб покойной солдат Мохов. Что-то недосмотрел. Часто подрывалась деревенская пацанва. Несмотря на строжайшие запреты, они из любопытства, а больше, пожалуй, от голода, шарились в брошенной немецкой технике и всяком хламе, вытаивающем из-под снега. И гремели взрывы.

Санька всю войну был в основном на передовой, среди солдат, и мало видел жизнь мирного населения. Голодные и оборванные дети, забитые и запуганные женщины и старики вызывали в нём иногда приступы такой злобы на войну, фашистов

и весь этот неустроенный, расшатанный мир, что внутри что-то заклинивало, и он, замыкаясь, отгораживался от людей и реальной жизни. На войне так часто бывает с людьми, и опытные фронтовики знали, что в такие периоды не надо к человеку лезть в душу. Пусть сам переломается. Санька, замыкаясь в себе, работал до изнеможения. Работал как автомат, с обострёнными чувствами опасности и логики. Уловив принципы немецкой пунктуальности, он старался смотреть на окружающую обстановку глазами немецких минёров и шёл по их следам, безошибочно повторяя их работу в обратной последовательности. Усталость давала хоть какое-то удовлетворение и постепенно глушила злость, успокаивая душу сделанной работой.

Юсуп почти всегда имел в запасе что-нибудь спиртное от Дунькиных находок. Человек по натуре непосредственный и отзывчивый, он жалел Саньку, видя, как тот мается. По вечерам, когда уже темнело и работа останавливалась, он осторожно подсаживался к Саньке и ворчливо ругал его:

— Саньк, ну ты чего? На, выпей немного, размочи душу. Нельзя так, сгоришь. Пустой будешь внутри, плохо будет. Глаза у тебя злой, как у собаки. Как жену, детей ласкать будешь? Война ещё длинный, жизнь длинный, силы надо беречь. Вот возьми лошадь. Он животный умный и понимает: если дорога длинный — надо силы беречь. А когда ему плохо, у него глаза грустный, а не злой. А у тебя злой. Выпей, Саньк.

— Эх, Юсуп. Не помогает мне выпивка, — Санька помолчал, уперев глазами землю. — Юсуп, ты вот мне скажи: почему жизнь такая злая? Почему люди такие злые? Почему люди войну придумали? Зачем убивают друг друга? Ты посмотри, что кругом делается. Зачем немцы к нам пришли? Что, они жили плохо, голодали, у них не было одежды? Они нас убивают, мы их. Кому всё это надо? Ну скажи, кому?

— Войну, Саньк, шайтан придумал. Он по свету бродит, людей разума лишает, и они не знают, что делают. Вот. И ещё жадность. У животных жадности нет. Он накушался и доволен, лишнего ему не надо. А человек по натуре жадный. Всё ему мало. Дай ему больше, больше, пока не лопнет. Всё это от шайтана. Мулла как говорит: «Убей в себе порок — и будешь праведник». А людям легче друг друга убивать. Потому и война... Я так думаю.

Быстрые наступления и прорывы, принося славу полководцам, создают на фронтах порой такую кашу, что и сам чёрт не разберёт. Растянутый на большие расстояния фронт зачастую оставлял тылы практически незащищёнными, а то и вообще брошенными, без средств передвижения, переправ и управления. Санькин сапёрный взвод, работая по разминированию световой день, двигался по

ночам от деревни к деревне, от посёлка к посёлку по расхристанным и перемешанным дорогам. Замотанные солдаты спали урывками, как попало, иногда во время вынужденных остановок, а то и просто на ходу. Ночью взвод вышел к речке Сухой Ташлык. Может, жарким летом этот Ташлык и был сухой, но сейчас разбухшая река катила свинцовым бугром, упираясь изгибом в подмытый берег. Как её форсировать, никто не знал. А перебираться надо. Было строгое указание двигаться вперёд без остановок.

Командир взвода старший лейтенант Тертычный долго ходил где-то по начальству, пытаясь выяснить насчёт переправы, и пришёл злой и грязный, как чёрт.

Всё его славное воинство спало вповалку. Лежали кто где приткнулся, словно сражённые разом наповал. Тертычный закурил и, присев на край телеги, с грустью смотрел на своё поверженное войско. Умаялись ребята вконец, которые уже сутки не спят. Старший лейтенант и сам был чуть жив. Эх, ёлки-палки! Завалиться бы сейчас под кустик минут так на... На сколько, Тертычный думать не стал, потому как за войну превратился в такого пессимистичного реалиста, что и самому противно. Дурные мысли из головы вон. Была одна команда: вперёд, без промедлений. Хватит, наотступались назад! Фронт и так вон уже куда отмахал.

Вот это прорыв так прорыв. Чесанули немцам по соплям — опомниться не могут. Вперёд так вперёд, вот только как? Не стая ворон, через реку не перелетишь. Тертычный бросил папиросу, прыгнул с телеги и с хрустом потянулся.

— Славяне, подъём!

Никто и не пошевелился.

— Подъём, ребята, война ещё не кончилась.

Сонно зашевелились. Ездовой Василий Матвеевич Фанеев, во взводе его звали дед Фаня, пожилой уже мужик, встав на четвереньки, долго мычал, раскачиваясь.

— Вставай, вставай, Фанеев, шевели гузном. Твоя Семёрка уже давно проснулась, удилами гремит, в бой просится.

Семёрка, старая сивая кобыла, единственное транспортное средство взвода, стояла, уныло опустив голову, чуюк не доставая отвислой нижней губой до земли.

— Товарищ старший лейтенант, да куда идти-то? Переправы нет. Вплавь, что ли?

— Куда, куда. Не закудыкивай. Начальник штаба на карте показывал брод километрах в трёх ниже по течению. Туда и двинем.

— Товарищ старший лейтенант, да какой там может быть брод? Река в самом разливе.

— Разговорчики, Михалёв. Умный шибко. Сказано — брод, значит, брод. Тут переправы до морковкиных не дождёшься. А там посмотрим, может,

чего и получится. Вплавь так вплавь. Вас как будто всю войну через реки на теплоходе «Москва» переправляли. И всё, кончены разговоры. Выходь на дорогу... скороходы.

Санька спросонья долго тыкался, спотыкаясь на колдобинах, пока вышел на колею. От реки тянуло сыростью. Туман густым молочным одеялом плотно висел над землёй, напивывая одежду холодной влагой. На ходу достал чистое полотенце и, обмотав его вокруг шеи вместо шарфа, застегнул телогрейку на верхнюю пуговицу. Встряхнувшись, как собака, и отгоняя остатки тягучего сна, Санька зашагал, звучно чавкая сапогами. Взвод вытянулся редкой цепочкой, и в тумане, разлитом плоскими языками, проглядывали то головы, то ноги идущих понуро бойцов. Невидимая впереди Семёрка иногда брякала уздой и фыркала, шумно вздыхая. Санька от мерной привычной ходьбы начал придрёмывать, спотыкаясь, тыкаясь и мотая головой.

Шли долго. Где этот брод и сколько ещё идти, он не задумывался. В армии, а особенно на войне, отучают думать. Если каждый солдат думать будет, тогда это не армия получится, а Академия наук. Солдат по команде живёт, а коль нет команды, иди и сопи в рукавичку. Так размышляя и придрёмывая на ходу, шагал орёл-боец Гораздов вдоль незнакомой речушки Сухой Ташлык. Чтоб она провалилась, эта река-речушка. Чуть сзади было слышно чавканье сапог и мерное дыхание.

Санька, ещё раз встряхнувшись от сна, решил это дело перекурить. В тумане была видна высокая сторбленная фигура. «Вроде лейтенант. Стрельну-ка я у него папироску. Офицеры недавно паёк получали, а он мужик нежадный». Санька остановился, дожидаясь, пока он подойдёт, и помотал ногами, отбрасывая с сапог налипшую грязь.

Когда он поднял голову и раскрыл рот, чтоб завести разговор про курево, глаза у него полезли на лоб. Перед ним стоял живой немец, в блестящем чёрном клеёнчатом плаще и в пилотке, натянутой на уши. Глаза его, блёклые, чуть не зелёные, были ещё шире Санькиных. Несколько секунд они стояли, оторопев, друг против друга, и вдруг немец молчком кинулся на Саньку. Здоровый мужик в плечах, да и в рост головы на полторы выше. «Вот так покурить, Санёк. С таким боровом как раз покуришь на том свете». Поскользнувшись в грязь, они упали, и немец как-то сразу всей тушей навалился сверху. Санька, неудачно изворачиваясь, залепил себе глаза рот и нос липкой глиной. Обхватив Санькину шею руками, немец пытался задушить его, но обмотанное полотенце и застёгнутая на верхнюю пуговицу телогрейка не давали ему возможности дотянуться до шеи. Санька, поняв это, ещё больше втянул голову в плечи. От немца пахло гороховым супом, одеколоном и вонючим табачным перегаром. «Похоже, что кранты, задавит ведь, зараза». Санька лихорадочно рвал руками



на немца его клеёнчатый плащ и, зацепив большим пальцем за карман, с треском распустил полу до низу. И вдруг рука наткнулась на рукоятку ножа на поясе у немца. Ухватив покрепче, он вырвал нож из ножен и коротко ткнул немца в бок. Тот, как-то странно икнув и отталкиваясь от Саньки, попытался подняться, но Санька ударил его ещё и ещё раз, уже в низ живота. Немец дико заорал и, свалившись на бок, согнулся в поясе, прижимая руки к животу. Санька ткнул его ещё несколько раз куда-то в грудь и, вставая на четвереньки, завозился, доставая из-за спины винтовку. Передёрнул скользкий от грязи затвор, выстрелил в воздух. — Немцы, немцы, — хрипло пытался кричать, раз за разом дёргая затвор и стреляя.

Вдали послышался шум, коротко треснул автомат, по звуку, похоже, «шмайссер», потом глухо хлопнуло несколько винтовочных. Послышались крики, топот ног. Санька упал на землю, быстро отполз в сторону от дороги. Топот приближался, и он увидел лейтенанта и с ним Витьку Михалёва. — Товарищ лейтенант, я тут.

Тертычный с Витькой подбежали, топя. Санька лежал совершенно обессиленный, весь залитый кровью вперемешку с грязью.

— Гораздов, ты живой? Кто стрелял? — лейтенант, наклонившись, стал поднимать Саньку. — Где ранило?

— Да нигде. Это я стрелял. Вон немец лежит. Тут немцы, наверное, кругом. Куда мы зашли? Немцы здесь, товарищ старший лейтенант!

Витька, помогая лейтенанту, поставили Саньку на ноги.

— А чего весь в крови? Тебя ранило?

— Да это его кровь. Чуть не задавил, боров. А там впереди кто стрелял?

— И сам ещё не разобрался. Откуда тут немцам взялся?

Послышались тарыхтение телеги, шум голосов. Лейтенант, размахивая руками, закричал:

— Здесь мы, здесь! Давай сюда!

С грохотом подъехал на телеге дед Фаня, подбежали, выныривая из тумана, сапёры.

— Ну что, все целы? Немцев видели?

— Да кто-то резанул из автомата в тумане, мы в ответ, и опять тихо. Может, ушли, а может, где и прячутся.

Лейтенант стянул с лежавшего немца автомат, поднял из грязи нож, весь в крови.

— Это ты этим его?

— Этим.

— Так как же ты на него напоролся... или он на тебя?

— Да мы шли вместе.

— Как вместе?

— Ну, он сзади сопел. Идёт и идёт. Я думал, это вы, остановился, хотел закурить, а он на меня и бросился.

— А чего же не кричал?

— А чего кричать? Он молчит, а я что, баба — верещать на весь базар? Да и некогда было, боролись мы.

— Ну ты погляди-ка на него — борец. Цирк тут, что ли? А если бы он задавил тебя?

— Ну так на войне каждый день — если бы да кабы. А я приучен с детства сам себя защищать.

— Ишь ты какой. А скажи-ка, Аника-воин, чего же ты отстал? Уснул?

— Да вроде и нет. Шёл, дремал помаленьку. Да я думаю, он тоже кемарил на ходу. Такие же бродячие, вроде нас. Вот и столкнулись. Недоразумение вышло.

Тертычный аккуратно обтёр нож о плащ немца, показывая на ладони, подумал немного и протянул его Саньке.

— Возьми, Гораздов, трофей на память. Завоевал в бою. Характерный ты мужик.

Ещё раз внимательно оглядевшись, он подозвал к себе Витьку Михалёва.

— Михалёв, забери у фрица документы, отведи взвод ближе к берегу, и займите круговую оборону. А я втихую пошукаю кругом, определюсь на местности.

Передав Витьке свой автомат, он повесил на шею «шмайссер», выдернул у немца запасной рожок из-за голенища сапога, сунул его за пояс и нырнул в туман. Санька с трудом поднялся, подошёл к лежащему немцу. Не было у него на душе ни злости, ни жалости к лежащему на земле человеку, только что убитому его руками. Постоял молча, потом бросил рядом нож, повернулся и пошёл, не оглядываясь, к берегу.

Взвод расположился в кустах на бугорке почти у самой воды. Лейтенант, хотя и успокоился, никого не обнаружив поблизости, всё-таки выставил посты, а остальным приказал до рассвета дремать пару часов. Однако, несмотря на смертельную усталость, у бойцов сон как рукой сняло. Только Санька сидел, привалившись спиной к колесу телеги. Всё тело ныло, руки и ноги были как ватные. Подошёл Юсуп, присел рядом.

— Ну что, Саньк, живой?

— Да живой, ноги только гудят, и руки не поднять. Перетрудился, однако.

— И как ты такого жеребца уделал? Здоровый фриц.

— Не знаю, Юсуп. Я же говорил, по недоразумению всё вышло. Сильно жить, наверно, захотел. Много в моей жизни было всяких недоразумений. Ты знаешь, я и родился недоношенный. Мать так и звала меня: недоразумение ты моё...

— Ну, тогда не горюй. Недоношенные, говорят, живучие. Сто лет тебе жить. Ну, ты дремани немного, отдохни. А я пока похожу тут покараулю. Как бы чего не вышло, ещё какой-нибудь недоразумений.

Юсуп подсунул Саньке под голову свой вещмешок, кряхтя, поднялся, поддёргнул винтовку на плече и пошёл, сгорбатившись, с трудом поднимая ноги в стоптанных сапогах. Дунька семенила за ним, тыкаясь острой мордочкой в полы шинели.

Санька, прикрыв глаза, смотрел ему вслед с неожиданным для себя и удивительным чувством детского умиления и нежности. «Хороший ты мужик, Юсупка. Да и вообще все люди кругом

хорошие. И жить хорошо. Сидеть бы так долго-долго...»

...Засыпая, он сладко засопел.

Солнце, медленно выходя из-за реки, топило полосы тумана, и он оседал мокрой пылью на Санькином курносом носу. День разгорался. Ещё один день на Земле.

Что он принесёт людям?..